

Тюрьма. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

Тюрьма. Максим Горький

I

Над городом неподвижно стояли серые тучи; на грязную землю лениво падал мелкий дождь, окутывая улицы тусклой, дрожащей тканью...

Окружённая плотной цепью полицейских, по мокрому тротуару, прижимаясь к сырým стенам домов, медленно шла густая толпа мужчин и женщин, а над нею колебался глухой, неясный шум.

Серые, сумрачные лица, крепко сжатые челюсти, угрюмо опущенные глаза. Кое-кто растерянно улыбается и развязно шутит, стараясь скрыть обидное, тяжёлое сознание бессилия. Порою раздаётся сдавленный крик возмущения, но он звучит тускло и неуверенно, как будто человек ещё не решил: пора возмущаться или уже - поздно?

Усталые лица полицейских озабочены, озлоблены. Капли дождя тускло блестят на шапках и усах. И на людей, - побеждённых без боя, - вместе с дождём лениво падают крупные, липкие хлопья снега - опускается угрюмая печаль.

- Загоняй во двор! - крикнул кто-то осипшим голосом.

Началась давка, люди, как овцы, тесно прижимаясь друг к другу, тёмным потоком вливались во двор. Их негодующие крики зазвучали громче, нервнее, послышались резкие возгласы озлобления, высокие голоса женщин зазвенели слезами...

Весёлый, добродушный здоровяк, студент первого курса Миша Малинин шёл в середине толпы и наивными голубыми глазами жалостно осматривал бледные, злые, растерянные лица вокруг себя. Крики женщин, нервный смех, глухой ропот волновали его; задыхаясь в тесноте, полный тяжёлым чувством стыда, готовый плакать от негодования, расталкивая окружающих, он старался скорее пройти во двор, чтобы спрятаться там, отделить себя от всех, остаться одному.

...Чьи-то маленькие цепкие руки крепко схватили его за рукав пальто он увидел перед собой бледное лицо с огромными влажными глазами. Это лицо, мокрое от слёз или дождя, поднялось к его лицу, и ярко-красные, судорожно перекошенные губы, вздрагивая, горячо зашептали:

- Я - не пойду!.. я не могу, не хочу! Он толкнул меня... он не смеет... скажите ему...

Девушка задыхалась, трясла головой, и чёрные кудри мятежно осыпали её мокрые щёки и белый высокий лоб.

- Не смеет! - вдруг закричала она, покрывая своим голосом весь шум, взмахнула рукой, выпрямилась, и глаза её вспыхнули.

Тогда и в груди Миши тоже вспыхнул огонь, жгучими струйками разлился по жилам, выжег стыд, наполнил грудь юношеской отвагой. Миша рванулся вперёд, - чёрная масса расступилась под его напором, как грязь от камня, упавшего в неё... Он увидел перед собой высокого человека, в серой шинели, и звенящим голосом закричал на него:

- Вы не смеете бить!

- Да - э! Кто ж бьёт? - раздражённо отмахнувшись рукой, возразил серый человек. Его утомлённое лицо с рыжими усами исказилось пренебрежительной гримасой, и, положив руку на плечо Миши, он сказал:

- Ну, прошу вас, - идите же!

Миша видел его гримасу и почувствовал в сердце острый укол обиды.

- Я - не пойду! - свирепо закричал он. - Мы не пойдём... мы не стадо! Довольно насилий!

Все красивые, сильные слова, какие он слышал о свободе, о человеческом достоинстве, хлынули из его груди горячим ручьём и засверкали над людьми, зажигая у одних гнев, у других – страх. Опьянённый звуками своего голоса, оглушённый пёстрым вихрем криков, он закружился в толпе, точно искра в чёрной туче дыма, и не заметил, как его схватили, вырвали из толпы, очнулся только на извозчике.

Широко открыв глаза, он жадно глотал воздух и вздрагивал, полный здорового, радостного возбуждения, ещё не отдавая себе отчёта в том, что произошло. Рядом с ним, обнимая его за талию, сидел околоточный надзиратель, молодой человек с чёрными усами и со шрамом на правой щеке. Лицо у него было угрюмое; крепко сжав губы, он прищуренными глазами смотрел вперёд и всё дотрагивался до щеки левой рукой.

- Вы меня... куда? - добродушно спросил Миша.

- Ввв - часть... - сквозь зубы ответил околоточный, и лицо у него болезненно вздрогнуло.

- Вас - ударили? - сочувственно осведомился Миша.

- З-зуб болит... чёрт! - промычал околоточный, ткнул извозчика кулаком в спину и злым, истерическим голосом занял: - Да поезжай ты скорее... будь проклят!

Извозчик - седой, маленький старик - повернул к нему лицо и, ласково моргая красными слезящимися глазами, утешительно сказал:

- По-спеем, ваша благородия... в тюрьму не в церкву, никогда не опоздаешь...

- Поговори у меня! - прошипел околоточный. Извозчик пугливо задёргал вожжами и забормотал на лошадь:

- Эх ты... н-ну...

По улице, в густом, липком тумане, суетливо мелькали тёмные фигуры прохожих - казалось, что они сбились с дороги в этой серой, влажной мгле и беззвучно, тоскливо мечутся, не зная, куда идти. С глухим шумом и воем проносились вагоны трамвая, под колёсами у них вспыхивали злые, синие искры, а внутри вагонов сидели чёрные люди. Непрерывно звучал усталый лязг подков по камням мостовой, появлялись жёлтые огни фонарей, растерянно вздрагивали и, ничего не освещая, - исчезали, проглоченные туманом. Резиновые шины пролётки торопливо подпрыгивали по неровной мостовой, и в груди Миши тоже что-то начало дрожать мелкой, неприятной дрожью.

У ворот полицейской части кто-то низенький, толстый и серый, как туман, сказал сиплым, равнодушным голосом:

- Эге! Ще одного привезли? А местов - вже нема!.. Их благородие казали - нехай возят прямо у тюрьму...

- Чтобы черти побрали... - застонал околоточный и вдруг, повернув к Мише страдальчески сморщенное лицо, укоризненно заговорил:

- Вот, господин студент... да-с! Говорите тоже - мы за народ!.. а... а больной человек должен возить вас... несмотря ни на что!

И, резко отвернувшись, он крикнул извозчику:

- Ты! Ну... в губернскую!..

Мише хотелось рассмеяться, но, не желая обижать больного человека, он сдержался, помолчал и потом ласково заметил:

- Вы бы - креозотом...

Околоточный не отозвался. И уже только у стены тюрьмы, слезая с пролётки, он уныло проговорил:

- Пробовал и креозотом... не помогает!.. Пожалуйте!

II

В тюрьме тоже не оказалось свободных мест, Мишу посадили в небольшую камеру для уголовных. Седой, высокий надзиратель, с длинным лицом, острой бородкой и бесцветными, неподвижными глазами, с громом запер толстую грязную дверь и, наклонясь к прорезанному в ней круглому окошечку, сказал, точно в рупор, глухим, ровным голосом:

- Ежели что занадобится - позовите...

Юноша осматривал камеру. У двери, с левой стороны, тяжёлым треугольником выступала печь, к ней плотно примыкали покатые грязные нары на четверых; они тянулись по всей длине стены до окна, заделанного толстой железной решёткой. Между нарами и правой стеной оставалось свободное пространство, шириною аршина в полтора, кроме нар в этой грязной, угрюмой комнате - ничего не было. Иссечённый трещинами каменный свод изгибался тяжёлой аркой, опускаясь у левой стены почти до уровня нар. В самой высокой точке свода горела покрытая пылью электрическая лампочка, освещающая стены, покрытые пятнами от раздавленных клопов и какими-то надписями.

Над нарами около печи были начертаны, должно быть гвоздём, столбцы цифр - кто-то слагал, делил и множил их, заполняя этим пустоту дней, проведённых здесь. На тёмном пятне высушенной плесени крупными буквами было написано:

Мы из Вязьмы два громилы

Вместе по миру ходили,

С за угла копейку срубим,

На неё краюшку купим

И - хряпаем.

Миша улыбнулся, думая, что значит - "хряпаем"?

"Должно быть - жадно едим!" - решил он, всматриваясь в нестройные ряды букв, весело рассыпанных по стене. "Два громилы" представились ему отчаянными весельчаками. Миша прочитал стихи ещё раз и засмеялся...

За дверью камеры раздались шаркающие шаги, глухой голос сердито спросил:

- Вы - что?

Миша вздрогнул, обернулся, - из квадрата, прорезанного в двери, на него смотрел холодный, неподвижный глаз...

- Вы - звали?

- Нет. Я - смеялся.

Глаз подпрыгнул куда-то кверху, долетел тусклый и как будто обиженный голос:

- Здесь не смеются...

Пред Мишей мелькнуло худое, длинное лицо надзирателя, его круглые, бесцветные глаза, седые мохнатые брови, высоко поднятые над ними, широкий лоб, обтянутый жёлтой, морщинистой кожей...

Студент вздохнул и стал читать надписи. На потолке, там, где, лёжа на нарах, легко было достать до него рукой, кто-то очень тщательно, печатными буквами написал:

"Сдесь сидел Якоф Игнатив Усоф. По убийству жены и Сашки Грызлова за подлость иху. Винваре это было. 1900. Выпустил им кишки".

Миша снова вздрогнул. Его поразило содержание надписи и ещё больше тщательность, в которой чувствовалось, что Усов твёрдо верит в своё право убивать людей.

Он хотел представить себе Усова и не нашёл для него человеческого образа, – этот спокойный убийца рисовался в его воображении бесформенным, грозным пятном, и в центре этого пятна ровным светом горел тусклый, кроваво-красный огонь.

За дверью раздались тяжёлые шаги и громкий возглас:

– Смирно!

Потом загремело железо, дверь отворилась, в камеру вошли двое надзирателей и младший помощник начальника тюрьмы – маленький человек с тёмной, острой мордочкой и пугливыми мышинными глазками. Он искоса окинул взглядом фигуру студента и молча отвернулся от него. Один из надзирателей рыжий, толстый, с большим животом – подошёл к окну и потрогал рукой решётку; другой, знакомый Мише высокий старик, неподвижно стоял у косяка двери и смотрел в лицо юноши мёртвыми глазами. Скользя около его ног, в камеру влетела – точно облако холодного воздуха зимой – серая фигура уголовного арестанта; он быстро швырнул под нары деревянную шайку, густо вымазанную смолой, и исчез. Ушло и начальство, громко стучая ногами. Взвизгнул тяжёлый засов, потом дверь шумно заперли замком и пошли дальше по коридору, унося с собой холодный, твёрдый лязг ключей.

– Смирно-о! – донеслось в камеру Миши подавленное восклицание.

Где-то протяжно завизжал блок, хлопнула дверь, воздух вздрогнул от звука, похожего на выстрел, вновь раздался тяжёлый скрежет железа, отчётливо прозвучали мерные твёрдые шаги, ещё раз Миша услышал суровый окрик:

– Смирно-о!..

И – стало тихо, точно всю тюрьму сразу окутали мягкой, непроницаемой для звуков тёмной тканью...

Малинин почувствовал, что у него точно зуб заболел, но тотчас же устыдился тихо ноющей боли, встряхнул головой, сунул руки глубоко в карманы брюк и, громко насвистывая, зашагал по камере.

В окошке явился мёртвый глаз надзирателя, и его сухой старческий голос спокойно произнёс:

– Свистеть – нельзя!

– Нельзя? – остановясь, повторил Миша.

– Ну, да...

– Хорошо... не буду! – усмехаясь, сказал Миша, пожав плечами.

Несколько секунд глаз тускло поблестел, потом медленно всплыл вверх. За дверью прозвучали, удаляясь, мягкие шаги. В соседней камере у каторжан гудел тёмный, однообразный шум... Кто-то, должно быть, молился или рассказывал сказку... Миша подошёл к окну, встал на подоконник и, прислонясь лбом к холодному железу решётки, стал смотреть во тьму ночи... А ночь была так густо темна, что казалось – если за окно высунуть руку, рука покроется сырым, чёрным, как сажа, налётом...

### III

В тишине, точно подстерегавшей звуки и готовой резко обнаружить их, Миша почувствовал, что в нём снова растёт гордость собою.

...Среди сотни людей только он один нашёл в себе мужество смело спорить против насилия!.. Ему вспомнились влажные глаза девушки. Может быть, теперь, сидя в своей маленькой комнатке, она рассказывает подругам о том, как высокий студент говорил речь, призывая на борьбу с насилием.

Высоко в чёрном небе трепетно горели маленькие, страшно далёкие звёзды – сквозь

Тюрьма. Максим Горький gorkiyamaxim.ru  
грязное стекло окна плохо было видно их.

Миша, не мигая, смотрел в высоту, и его думы кружились в медленном хороводе, сменяя одна другую...

"Приятно будет рассказывать о тюрьме, когда выйдешь на свободу!.." думалось ему. Он крепко закрыл глаза, подумал и через минуту взволнованно шептал:

Сквозь железные решётки

С неба в окна смотрят звёзды...

Ах! В России даже звёзды

Смотрят с неба сквозь решётки...

Четверостишие показалось ему красивым и остроумным. Обрадованный этим, он соскочил с окна и, расхаживая по камере, вслух стал декламировать, возбуждённо улыбаясь:

Ах! В России даже звёзды

Сквозь решётки смотрят с неба!

- Говорить - нельзя! - раздался тревожный, громкий шёпот.

Миша остановился и несколько секунд молча смотрел в глаз надзирателя, блестящий среди двери.

- Почему же нельзя? - спросил он наконец, невольно понижая голос.

- Запрещено!

Мише показалось, что теперь глаз точно ожил и в нём сверкает испуг.

- Но - почему? - тихо спросил Миша, подходя к двери. - Ведь кроме вас - никто не слышит... а вам разве я мешаю?

Он наклонился к двери, и вместе с тёплым дыханием лица его коснулись странные, строгие слова:

- Чего вы смеётесь, господин студент? Разве для смеху вас сюда посадили?

- Да скажите вы... - начал Миша.

Но глаз надзирателя исчез, за дверью притаилась тишина.

- Смирно! - глухо раздался за окном сиплый голос. Звякнуло ружьё, составленное к ноге. Во тьме часовой торопливо и негромко бормотал:

- Двенадцать окошков... дыве будки...

- Ты, чуваш! Ежели увидишь башка из окна высунется, або рука - не стреляй!..

- Слушаю!

- То-то! А то - бухнешь, как намедни... Быков, объясни ему подробно!..

В тишине каждое слово сверкает, как искра во тьме.

- Ежели увидишь - в окно смотрят - не стреляй! Понял?

- Тах точино...

Слова, сказанные ломаным языком, звучат боязливо и грустно.

- Ну, а ежели кто полезет из окна, а то побежит тут вот, али там видишь?

- Тах точино...

- Сейчас ты кричи - кто идёт? И раз кричи, и два... а третий стреляй, ну, только - вверх, для тревоги... И тогда - бегущего этого - тоже стреляй... али бей прикладом, али штыком... Как тебе сподручно, понял?

- Тах точино...

- Ну, ходи теперь вот отсюда дотудова... и гляди в окна... Да дрыхнуть не вздумай!

- Никак нету...

- То-то, - идол! А ну, объясни - когда ты должен стрелять?

- Кохда полезит на стине...

- А ежели он прямо через стенку?

Слышно, как ноги нетерпеливо топают о сырую землю.

- Н-ну, чёрт!..

- Тохда - бить... - раздаётся робкий, тихий голос.

- А ежели - голова в окне, - тогда что?

Молчание. Брякает ружьё. Озлобленно плюют...

- Н-ну, дубовая башка!..

Громко звучит нецензурное ругательство и - противный звук, точно ударили ладонью по тесту...

- Тогда - ничего... - как вздох, доносится едва слышный ответ.

- Врёшь! - рычит бас. - Тогда должен сказать - убери прочь голову... Понял? У, жабья морда... Марш!..

...Миша плотно прильнул к решётке, стараясь увидеть часового, который говорит так грустно и робко. Узкое пространство между стеной тюрьмы и высокой каменной оградой было наполнено густой тьмой, и в ней медленно, почти бесшумно двигалась небольшая серая фигурка, высоко подняв голову. Тонкая полоска штыка, поблескивая во мраке, была похожа на рыбу в воде.

- Вубери башка! - прозвучал торопливый, испуганный возглас.

Миша тихо слез с подоконника, осмотрелся вокруг. В камере было душно... На глаза ему попало циничное ругательство, крупно выведенное карандашом на сером фоне стены... Он прочитал его, помолчал и вдруг громко повторил вслух... Потом взглянул на дверь, лёг на нары и закрыл глаза...

Тотчас же в двери тускло заблестел рыбий глаз...

#### IV

Миша крепко спал, раскинувшись на нарах, и ему снилось, что он бежит по узкой, тёмной улице, а за ним гонится кто-то невидимый, хватая его за плечи и кричит непонятные, строгие слова:

- Поверка!..

Он открыл глаза, приподнял голову - около нар стоял рыжий, толстый надзиратель и дёргал его за полу тужурки, а высокий, сутулый помощник начальника тюрьмы насмешливо смотрел на него серыми глазами и говорил:

- Извольте вставать вовремя, здесь не у маменьки!

- Сейчас... - безобидно улыбаясь, сказал Миша, быстро соскочив с нар.

Помощник начальника взглянул ему в лицо, отвернулся к двери и уже мягче заметил:

- Вы бы спросили бумаги и написали домой... насчёт постели... и прочее...

Потом Миша ходил умываться в конец коридора, где над широким и длинным железным корытом из стены торчал ряд медных кранов, а из них текла круглой, толстой струёй холодная вода... По коридору бегали серые арестанты с жестяными чайниками в руках, и время от времени раздавался крик:

- За кипятком... эй!

Гремя кандалами, навстречу Мише прошёл высокий, стройный каторжник с бледным лицом, в густой русой бороде; он взглянул на студента, подмигнул ему и, улыбаясь, сказал:

- Что, барчук, накрыли?

Рыжий надзиратель принёс Мише кружку тёплого, жидкого чая и большой кусок чёрного хлеба.

Тюрьма гудела, как гнездо ос. Раздавался смех, ругань, обрывки песен, резкие окрики надзирателей, в коридоре мягко шуршали швабры, хлюпала вода, и Миша, полный острого интереса к жизни и людям, запертым в этом старом здании из камня и грязи, напряжённо вслушивался в гулкий шум...

Он мало читал и ещё меньше видел; до университета его жизнь скучно текла в строгом доме сестры и её мужа, и он чувствовал себя неловко среди тех студентов, которые свободно и горячо говорили мудрёным, книжным языком о разных общественных вопросах. Общая волна недовольства жизнью уже успела коснуться его души, возбуждая в ней смутное, но здоровое желание протеста, но он ещё не успел понять, куда, на что именно следует обратить этот протест. Теперь, чувствуя себя героем, он с жадностью юноши поглощал новые впечатления, наполняя ими огромную ёмкость молодой души...

Выпив чай, он влез на подоконник. По тропинке, у высокой стены, окружавшей тюрьму, быстрыми шагами ходил, заложив руки за спину, широкоплечий, чёрный человек в картузе и коротком толстом пиджаке. Порою он сильным движением скидывал голову и, не останавливаясь, быстрым взглядом осматривал окна. Несколько раз Миша чувствовал, как этот наблюдательный взгляд ярких глаз скользил по его лицу. Ему захотелось что-то сказать этому человеку, назвать свою фамилию, спросить, за что он сидит, и, когда человек поравнялся с окном, Миша негромко крикнул:

- Послушайте!..

Откуда-то из-под окна явился часовой и, грозя пальцем, сурово сказал:

- Эй... нельзя!

Человек в картузе пожал плечами и, улыбнувшись Мише, прошёл далее. Миша спрыгнул на пол.

Около полудня в камеру вошёл молодой и тонкий, как тростинка, надзиратель, с лицом, безобразно изрытым оспой. Он встал в двери и, не глядя на арестованного, тихо сказал:

- Пожалуйте на прогулку...

На дворе тюрьмы, в ямках между камнями, блестела отстоявшаяся вода; трое арестантов ходили по двору с метлами и лениво сгоняли воду к воротам, а она, уже мутная, густо насыщенная грязью, вновь медленно расплзлась между камнями...

Надзиратель привел Мишу за угол тюрьмы и негромко проговорил:

- Гуляйте вот тут, от угла до стены, - разговаривать с арестантами нельзя!

Тюрьма. Максим Горький gorki.ucoz.ru

Здесь, под голубым, безгранично высоким небом, слово "нельзя" точно впервые коснулось сердца Миши, и теперь в звуках его он почувствовал нечто унижающее. Нахмурился брови, он взглянул в лицо надзирателя, неподвижное, как маска, поросшее на скулах и подбородке кустиками светлых волос, и глаза на этом лице показались ему лишними, чужими; тёмные, овальные, прикрытые длинными ресницами, они смотрели ласково, и в них светилось что-то робко-недоумевающее...

- Ходите! - сказал надзиратель. - Останавливаться - нельзя...

Миша медленно пошёл, а надзиратель, оглядываясь, следовал за ним немного в стороне.

- Чего вы всё бунтуете? - тихо говорил он, глядя в землю. - Учились бы себе... потом вышли бы товарищем прокурора - только и всего! А вы бунтуете... такой молодой, красавец... Чай, мамаша есть?..

Миша был тронут его словами, и он остановился, засмеялся и, приложив руки к груди, тоже хотел сказать что-то простое, ласковое... но надзиратель испуганно отскочил, оглянулся вокруг и быстро зашептал:

- Идите, идите! Увидят - оштрафуют меня за разговор...

Он скрылся за углом тюрьмы, а юноша, полный смешанным чувством печали, любопытства, начал медленно ходить вдоль высокой тюремной ограды...

Над приземистым, грязно-серым зданием тюрьмы, с четырьмя башнями по углам, безмолвно распростёрлось бледно-голубое небо, вымытое осенними дождями, полинявшее...

"Сколько времени просижу я здесь?" - подумал Миша, оглядываясь вокруг. Ему казалось, что уже и теперь он мог бы рассказать о тюрьме довольно много интересного, если б его выпустили.

Он не заметил, как быстро прошло время прогулки, и, когда рябой надзиратель, подойдя к нему, сказал: "Пожалуйте в камеру..." - он удивлённо воскликнул:

- Уже?

Надзиратель утвердительно кивнул головой. В коридоре он тихо сообщил Мише:

- А у меня мамаша в богадельне...

И виновато опустил голову.

- Ага!.. Ну - ничего! - улыбаясь, сказал Миша, не найдя более удачных слов. Снова закрылась тяжёлая дверь камеры, резко и зло загремело железо засова и замка...

Так и потекла его жизнь день за днём, однообразно правильная, одноцветная...

V

...Проверка давно кончилась, и тюрьма спит тяжёлым сном. Сквозь глазок в двери из коридора доносятся порою какие-то странные звуки... Кто-то шепчет во сне, - кто-то бредит, должно быть. Тихо шаркают за дверью шаги надзирателя - сегодня дежурит старик с неподвижными глазами. Он медленно ходит по коридору и бормочет, а Миша лежит на нарах и, чутко прислушиваясь, думает.

Сегодня, во время прогулки, рябой досказал ему свою историю. Он - сын какого-то офицера, который соблазнил его мать, швейку, и - бросил её, оставив на память о себе свою фотографическую карточку и ребёнка. Молодая женщина четырнадцать лет нянчила сына и всё работала без отдыха, не имея в жизни ничего, кроме сына. Она отдала его в приходскую школу, потом в городское училище, но там однажды учитель дернул мальчика за волосы, и мать, никогда не сказавшая сыну своему даже грубого слова, взяла его домой. Потом она нашла ему место писца у судебного следователя, а сама все шила, делала цветы, вязала чулки, всё работала. Сына взяли в солдаты, и там он, воспитанный любовью матери и влюблённый в неё, не стерпев насмешек над ней со стороны унтер-офицера, ударил начальника во время ученья. За это его



Тюрьма. Максим Горький gorkiymaxim.ru

отдали на три года в дисциплинарный батальон, без зачёта службы, а мать его всё работала и плакала над жизнью своего сына. Прослужив в солдатах семь лет, измученный, запуганный, он воротился домой и нашёл мать почти ослепшей, – она уже не могла работать, а ходила на паперти церковей собирать милостину... Но и тогда она подарила ему шарф, связанный ею, – последнюю работу дряхлых пальцев и полуслепых глаз, последнее воплощение своих сил, безропотно отданных сыну. Он несколько месяцев не мог найти себе дела и жил милостиной, собранной матерью. А потом она совсем ослепла; он, наконец, получил место в тюрьме; кто-то поместил слепую старуху в богадельню, и там она теперь вяжет чулки сыну своему...

"Какая женщина! – думал Миша. – Сколько любви... сколько простой, трогательной красоты!"

Он вспомнил пугливые, недоумевающие глаза рябого, его тихий голос...

– Какой же смысл в её труде, если сын всё-таки...

– Господин Малинин! – слышался громкий шёпот.

Миша вскочил с нар, – в окошечке двери беспокойно светился глаз надзирателя.

– Вы чего говорите? – спрашивал старик.

– Я? Я – не говорю... – удивлённо ответил Миша.

– Ведь я слышал!

– Это, должно быть, так...

– То-то... А вы удержите себя...

Глаз надзирателя на минуту скрылся, потом снова явился, и старик заговорил предупреждающим шёпотом:

– Вот так же всё разговаривал с самим собой... один тут... сказать правду – племянник он мне...

– Ну? – быстро спросил Миша.

– Ну, и свезли его в сумасшедший дом...

– Племянник ваш?

Глаз странно прыгал, – должно быть, надзиратель утвердительно кивал головой.

– И – сидел здесь? – тихо спросил Миша.

– В девятом номере...

– И вы его... вы – тоже были здесь? – не сразу сказал Миша.

– Я здесь – семнадцать лет, – спокойно ответил старик.

Миша, глядя на тусклый глаз старика, на его длинный хрящеватый нос, хотел спросить его:

"Неужели и племянника своего вы так же вот караулили, как меня?"

Но, боясь обидеть старика, он не спросил об этом, а только сказал:

– Давно вы здесь...

– Подождите-ка, я стул принесу себе, – подмигнув, зашептал старик, – а то – трудно мне нагибаться... спина болит.

Он ушёл. Миша стоял перед дверью, слушая шарканье его ног, и думал:

"Если у человека есть душа – у этого она должна быть такая же тёмная, сморщенная

Тюрьма. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
и сухая, как его лицо..."

Старик воротился, бесшумно приставил к двери стул, и снова в круглом отверстии явился его глаз и мохнатая, седая бровь, высоко поднятая над ним.

- Вот так-то лучше, - заговорил он. - Спать я не могу - косточки болят... И вы не спите... вот мы и поговорим... Ночью это можно... днём нельзя, а ночью - кто узнает? Днём-то я притворяюсь, будто строгий с вами... нельзя иначе, начальство требует! А ночью и с вами можно поговорить... К тому же - какой вы преступник? Эхе-хе! Жалко мне вас... Смеётесь вы, радуетесь, будто вам чин дали... молодость! Повинились бы вы начальству-то...

Мише стало неприятно слушать. Он нервно наклонился к двери и спросил старика:

- Ваш племянник чем занимался?

Снова зашуршал в камере сухой, бесцветный голос:

- Слесарь... Инженера он застрелил... Про него даже в газетах писали... как же! Он сам мне газету читал... случаем она попала, а в ней как раз про него и напечатано... Читал он - и смеялся... вот как вы... Резкий парень был... Мать-то его - сестра моя - ревела, ревела... Однако слезой кровь не смоешь... Бывало, я скажу ему - ну что, Фёдор, какова она, тюрьма-то? А он только фыркнет... Сначала - всё молчал он здесь, сердитый был. А потом - разговаривать начал... да и заговорился...

- Что же он говорил? - тихо осведомился Миша.

- А так - разное... кто же его знает? Вы не калужский сами-то?

- Да...

- То-то... фамилия знакомая. Почтмейстер в Калуге был, Малинин...

- Отец мой...

- Ну-ну... ведь и я калужский... да! Умер отец-то?

- Умер...

- Та-ак... все умрём!

Говорили они оба шёпотом, и голоса их шуршали в тишине, как сухие листья осени. За окном, как бы отмеряя уходящие минуты, глухо топали по земле мерные шаги часового.

- Скучно вам здесь? - спросил Миша.

- Старикам везде скушно... - ответил ему из-за двери шёпот.

- А... племянника жалко было... когда он здесь сидел?

- Что же его жалеть, коли он человека убил... Сестру жалко... А кто человека убил...

Старик вдруг замолчал, и лицо его исчезло, точно упало вниз. Миша смотрел в окошечко и ждал.

Лицо старика поравнялось с его лицом, и, медленно двигая тонкими губами большого рта, окружённого кочьями седых волос, старик, кивая головой и как будто усмехаясь, сказал:

- Соврал я... жалко мне федьку... тоже молодой был... хороший парень...

Вдруг по коридору, всколыхнув тишину, точно порыв ветра тёмную воду уснувшего пруда, пронёсся дикий, потрясающий вой:

- Не бей... голубчики... помилуйте!

- Что это? Что? - вздрогнув, крикнул Миша.

- Ш-шш! - зашипел старик. - Ничего... Это он во сне... они часто кричат... Тоже ведь у всякого своя совесть есть... Нуте-ка, спите... Ложитесь-ка с богом... Уж двенадцать било...

Он встал и пошёл прочь, и ноги его так шаркали, точно по полу тащили что-то большое, мягкое и очень тяжёлое.

Миша подошёл к нарам, лёг и уставился печальными глазами в каменный, грязный свод, молча нависший над его головой.

## VI

Миша как бы откачнулся куда-то в сторону от своего маленького прошлого, и самое яркое в этом - его "подвиг" - уже не так часто вспоминался ему. В странной жизни тюрьмы он чувствовал отдалённый намёк на что-то, пока ещё недоступное его сознанию.

Тюремное начальство относилось к нему снисходительно, с усмешкой должно быть, располагало в пользу Миши его открытое лицо, румянец щёк, голубые наивные глаза, добрая усмешка крепких, красных губ, красивый грудной голос и сильная, немного неуклюжая фигура.

- Н-ну-с, господин Малинин, как вам нравится у нас? - спросил однажды во время поверки старший помощник начальника.

- Интересно, знаете ли! - ответил Миша, улыбаясь. Тот хмуро засмеялся, потом изрезанная глубокими морщинами кожа его лба опустилась на глаза, и он сказал:

- Эх вы, - скромный наблюдатель! Прогулка вам увеличена на полчаса...

- Спасибо! - сказал Миша.

- Не на чем-с! - почему-то сухо ответил начальник, уходя из камеры.

Рябой надзиратель, Офицеров, рассказал Мише об этом человеке такую историю: однажды он заподозрил свою горничную в краже кольца у его жены и, чтобы заставить её сознаться в краже, целый день и ночь истязал девушку. Он позвал двух арестантов, которые чем-то досадили ему, велел им раздеть горничную и, привязав голую к столу, заставил арестантов щекотать её. Когда девушка впадала в беспамятство, он приказывал давать ей воду и снова мучить. Кончилось это тем, что один из арестантов не вынес пытки, помешался в уме и в диком порыве голодной страсти хотел тут же при начальнике и товарище изнасиловать девушку. Он был избит, посажен в карцер, а когда следы побоев исчезли - его отправили в лечебницу для душевнобольных.

- Только и всего! - тихо добавил Офицеров, когда кончил рассказ, и пугливо оглянулся вокруг, спрятав под ресницами свои робкие глаза. Слушая, Миша чувствовал отвращение к мучителю, но когда - в тот же день - увидел его в своей камере, то с удивлением заметил, что в его душе нет иного чувства к этому человеку, кроме острого любопытства и лёгкой брезгливости...

Из окна Миша видел, что, кроме чёрного человека в толстом пиджаке, на прогулку выходят ещё человек шесть политических. Очевидно, это были рабочие - коренастые, крепкие, плохо одетые, - они смотрели на всё сурово, исподлобья. Когда их глаза останавливались на лице Миши, он почему-то чувствовал себя неловко под этим взглядом, и ему хотелось прыгнуть с подоконника. На худых, голодных лицах этих людей точно вырезано было выражение твёрдой непреклонности. Некоторые из них улыбались ему, делали какие-то знаки. Миша тоже отвечал им улыбками и жестами. Он чувствовал к этим людям интерес, уважение и замечал, что с таким же интересом к ним присматриваются уголовные арестанты. Иногда, пользуясь невниманием часового, серые фигуры уголовных подбегали к политическим и выпрашивали папиросу или вступали с ними в быстрый, тихий разговор.

...Иногда после обеда уголовные, сидя в столовой под камерой Миши, запевали песню, и сквозь пол камера наполнялась глухими, матовыми звуками. В их густой

Тюрьма. Максим Горький gorki.ucoz.ru  
волне Миша не мог уловить слов, и только однажды он разобрал, как кто-то высоким, тоскующим тенором пел и жаловался:

Море синее,

Море бурное...

Ветер воющий,

Неприветливый...

Но чаще арестанты пели какие-то весёлые, бесшабашные песни с присвистом, с гиканьем; эти песни наполняли стены тюрьмы дерзкими звуками буйной силы. Тогда Мише казалось, что тюрьма дрожит, негодуя, на камнях её стен являются новые трещины, тяжёлая злоба тревожно и невидимо льётся из них на людей... Отовсюду бежали надзиратели и быстро гасили этот взрыв веселья, рождённого тоской... Миша видел, что надзиратели относятся к уголовным неодинаково: людей ничтожных, которые легко поддавались порабощению, – они презирали и порабощали, а к людям смелым, умевшим отстоять своё человеческое достоинство, – почти всё начальство относилось осторожно, даже, порою, дружелюбно, и только редкие позволяли себе открыто и враждебно проявлять свою власть над ними. А на "политиков" надзиратели смотрели – как это казалось Мише – с подстерегающим, затаённым интересом, и в нём чувствовалось недоверие, усталое ожидание чего-то особенного, необычного...

Однажды Офицеров, провожая Мишу на прогулку, шепнул ему:

– Ночью ещё троих ваших привезли...

– Студентов?

– Мастеровые...

– Скажите, Офицеров, вы знаете, за что их сажают в тюрьму? – спросил Миша.

Надзиратель подумал, оглянулся и, широко открыв глаза, сказал, подавленно вздыхая:

– Всяк по-своему жить хочет... и выходит распря!

Но, помолчав, он таинственно добавил:

– Не согласны они...

– С чем?

– Вообще не согласны... со всем!..

## VII

Почти каждую ночь в своё дежурство старый надзиратель – его звали Корней Данилович – подходил к двери камеры и, вставляя своё тёмное лицо в круглую рамку окошечка, с болтливостью старика начинал рассказывать Мише какие-то бессвязные истории. Корней много видел, много пережил, но все впечатления жизни перепутались в памяти его в огромный клубок несчастий, бессмысленного труда, унижений и каких-то безотчётных поступков. Иногда эти поступки казались Мише хорошими, трогали его, чаще – они были нелепы и дурны и всегда – необъяснимы, случайны, как будто человек не своей волей делал их, а только безропотно и бездумно исполнял повеления неведомой и непонятной ему воли, извне управлявшей им...

– Было это... лет пятнадцать тому назад, – шептал он, неподвижно остановив рыбий глаз на лице Миши, – вижу я – стал он у меня задумываться... сын-то, Алексей-то... В церковь – не ходит, в трактиры – не ходит... Присмотрел я за ним... а он со штундой связался... н-да... Поругал его, первым делом – смотри, говорю, я те задам! А он не прекращает... тут пожаловался я на него священнику... ну, пришёл он от священника... замечаю – злой такой... Я смеюсь ему – что, мол, задал тебе батюшка-то перцу? Тут он, на грех, как ругнёт его, батюшку-то... Я говорю – ах ты, такой-сякой! Как смеешь? А он и меня... Ну, я

Тюрьма. Максим Горький gorki.ucoz.ru  
разозлился да горшком с кашей в морду ему и запалил... Разбил морду-то... Он и ушёл... так с той поры и нет о нём ни слуху ни духу... так и нет... Вот вы какие строптивцы, молодые-то... н-да!

- Жалеете теперь о нём? - тихо спросил Миша. Старик не сразу ответил. Он помолчал, крякнул, несколько секунд бормотал что-то под нос себе и уж потом спокойно сказал:

- Когда и жалко... Всех жалко... Бывает даже убийцев и то жалко... Тоже - не всякий зря убивает... когда и за дело... Может, некоторых убийцев благодарить надо... Палач, примерно... Он ведь не зря, а для общей пользы убивает... Злодея и убить - не грех, а вы думаете, палачу-то сладко?

Миша быстро наклонился к отверстию в двери - он хотел видеть, что теперь выражает лицо этого старика, который неизвестно зачем отбросил от себя родного сына и способен пожалеть палача? Но лицо, как всегда, было подобно камню, покрытому трещинами, и глаза на нём блестели, точно два куска мутного стекла...

- Что смотрите? - спросил старик.

- Так... ничего... - тихо ответил Миша. - Скажите, почему вам не понравилось, что сын со штундистами познакомился?

- А про неё говорили, что она вредная... штунда! Однако года три назад сидело здесь четверо их... ничего, степенные мужики! Грамотеи всё, смирные... худого за ними здесь не было замечено! Хорошие арестанты... Спрашивал я их про Алексея - не знаем, сказали. Нас, говорят, много. Пожалуй, это и верно - часто они здесь сидят...

Помолчав, он продолжал:

- Теперь преступников всё больше пошло... Раньше были одни воры, грабители, убийцы... а теперь вот начались студенты, рабочие, политические, штунда и ещё всякие... Развал пошёл!

- Это вы - неверно! - горячо и торопливо заговорил Миша. - Люди хотят исправить жизнь, сделать её лучше для всех...

Из-за двери раздался негромкий, сухой смех, и потом старик, покашливая, сказал:

- Слышал я это... да! Многие говорили так-то...

Он поднялся и ушёл, как будто недовольный и рассерженный.

А однажды он рассказал такую историю.

- Я ведь жалостлив... я могу людей понять! Сидел в моём коридоре беглый каторжник, - здоровенный такой парень, красавец, обходительный... Мужик был, а улыбался, как хороший барин... бывало - улыбается, и ни в чём ему не откажешь. Скажет: "Данилыч! Достань табачку!" Достану... Ну, и скрал он где-то себе ножик, сделал из него пилку, добыл сала - и давай решетку у окна обрабатывать... А я это тотчас и заметил... и так мне его жалко стало! Эх, думаю, брат, не удастся тебе это дело! Однако - не мешаю ему, пускай, думаю, тешится, всё не столь парню скучно жить... Долго он старался поди-ка, недели три... а я слежу... Утешайся, мол...

Корней Данилыч ласково засмеялся.

- Ну, а когда работа у него до конца дошла - тут уж я и заявил начальнику...

- Зачем же? - воскликнул Миша.

- А как иначе? - спросил старик.

- Да вы бы этому, каторжнику-то, ему бы сказали!

- Чудак вы, - усмехнулся Корней. - А как же решётка-то? Ежели она перепилена.

- Да ведь можно было тогда сказать, когда он только начал пилить!

- Н-да... так разве? Можно было эдак... это верно... Ну, а как я сделал - оно лучше - всё-таки занял себя человек...

- Но ведь его наказали за это?

- А как же? Нельзя без того...

- И - очень?

- Н-не помню... в карцере месяц сидел, однако... потом, кажись, на суде ещё что-то дали... уж не помню я...

- Какая нелепость!--возмущённо воскликнул Миша. Тёмное лицо старика странно закачалось в окошке, и он, вздохнув или позёывая, медленно проговорил:

- Н-да... неисправимая жизнь!

...В таких разговорах старик и юноша проводили часы, один равнодушный и холодный, другой - полный бессильного негодования и недоумения. Между ними крепко стояла окованная изъеденным ржавчиной железом толстая дверь, и сквозь маленькое отверстие в ней бессонный и болтливый тюремный житель заваливал душу юноши угрюмым хламом своих воспоминаний. Миша начинал чувствовать зарождение чего-то тяжёлого и тёмного внутри себя.

Однажды он спросил офицера:

- Послушайте - неужели вам здесь нравится?

- Ежели бы не дрались - ничего бы... - ответил рябой своим тихим, мягким голосом.

- Вас - бьют? кто?

- Меня - редко бьют... Я говорю вообще, про всех!.. Арестанты дерутся... - страшно. И надзиратели их бьют... не всех... не всякого можно ударить! Но - которых можно бить - тех уж без жалости!

Он пугливо передёрнул плечами, оглянулся и, широко открыв красивые глаза, продолжал:

- А я - не могу этого видеть...

Стояли они за углом тюремной башни, около кучи сора, щебня и каких-то обломков дерева. Над ними медленно и важно двигались тёмные тучи, дул ветер и приносил откуда-то из города разбитые, разрозненные звуки...

- Извините меня, - тревожным шёпотом заговорил офицер, часто мигая глазами, точно он видел перед собой что-то ослепительно яркое, - извините, может, это - моя большая глупость...

- В чём дело? - понижая голос и волнуясь, быстро спросил юноша.

Офицер подвинулся к нему и дрожащим голосом сказал:

- Это - насчёт бога... Вы - веруете?

Миша опустил голову и, не сразу, тихо ответил:

- Н-не знаю...

- И я тоже не знаю! - торопливо подхватил тюремный надзиратель. - Я очень думаю об нём... ведь если он, действительно... зачем же такой ужас везде?.. И жестокость? Вы - человек учёный... зачем же ужас и жестокость?

На глазах его явились крупные, тусклые слёзы, движением головы он стряхнул их и - поспешно, не оглядываясь, ушёл прочь.

VIII

Миша возбуждённо ходил по камере, а в полумраке вокруг него, вливаясь тонкой струйкой в форточку окна, звучала тихая, жалобная песня – некрасивая песня, похожая на отдалённый вой голодного волка:

– А-а-а! о-о-ой! э-ой...

И всё, что пережил юноша за последнее время, точно воскрешаемое этим однообразным стоном, вставало в памяти его последовательно, настойчиво и упрямо, как бы требуя от него объяснения..

Его "подвиг" представлялся ему теперь чем-то тусклым, мало понятным, как старая, покрытая пылью и копотью картина, а себя он видел смешным студентом, безалаберно размахивающим руками среди толпы людей, сконфуженных своим бессилием, устыженных той лёгкостью, с которой их победила тупая, механическая, но организованная сила. Усталые, злые, равнодушные лица полицейских, пренебрежительная гримаса офицера, которому Миша кричал свою речь, околоточный надзиратель с большим зубом, – всё это всплывало в памяти юноши кошмаром, который давил его мозг...

"Вероятно, им было стыдно за наше бессилие..." – думал Миша и тотчас же понимал, что эти угрюмые, усатые солдаты, приученные и привыкшие обращаться с людьми, как со скотом, ничего не могут стыдиться и ничего не умеют чувствовать, кроме физической боли и страха пред той силой, которая поработила их и двигает ими, как хочет. Ему вспомнился извозчик – как он пугливо задёргал вожжами, когда околоточный крикнул на него... Прозвучал голос равнодушного человека у ворот части, – человека, который говорил о людях, как о брёвнах или кирпичах... Он вспомнил мать Офицера, которая не протестовала, когда сыну её дали фамилию по профессии его отца, а ведь она должна была знать, что эта фамилия будет причиной злых и обидных насмешек над сыном... Может быть, только из-за этого Офицеров провёл три года на каторге дисциплинарного батальона... Вспомнилась горничная начальника тюрьмы, простившая издевательство над нею за десять рублей... Офицеров, на всю жизнь испуганный жестокостью людей... бессмысленная жалость старика Корнея, который, безропотно подчиняясь чужой воле, восемнадцать лет твердит людям всё одно и то же тупое слово: "нельзя!" – и никогда не спросил себя почему же нельзя?

Даже во сне люди видят и чувствуют, что их бьют, и, охваченные ужасом, они кричат во сне дикими голосами:

– Не бей! Пощади...

Миша остановился среди камеры – отвратительное чувство какой-то липкой тоски наполнило его грудь. За окном уныло колебалась песня:

– А-а-о-й...

Мише стало казаться, что это в нём, в его груди дрожит и стонет тоска, боль и горький стыд за людей...

– Послушайте... – раздался в камере тихий шёпот. Миша почти с радостью пошёл к двери; в отверстии посреди её ласково блестели красивые глаза Офицера.

– Что вы? – спросил Миша.

– Не спите?

– Нет...

– В тюрьме очень многие плохо спят... Прослушайте стихи... если любопытно...

– Пожалуйста... говорите!

– Только, я думаю – они запрещённые!.. Это во втором этаже было написано... в башне, карандашом на стенке...

Глаза Офицера на минуту исчезли из кружка в двери, потом он вставил в него

Тюрьма. Максим Горький [gorkiymaxim.ru](http://gorkiymaxim.ru)  
свои губы, и камеру наполнил тихий, таинственный шёпот, весь пропитанный тёплой грустью и страхом:

Жил когда-то человек...

Только правде был он другом,

И за эту дружбу с правдой

Не любил никто его...

Говорили все о нём

С ненавистью и со страхом.

И нигде себе приюта

Человек не находил...

Одинокий, всем чужой,

Тихо умер он в темнице,

И никто не провожал

Его гроба до могилы...

Неизвестно, где зарыт

Верный друг гонимой правды,

Только сердце моё знает

Эту тайну... и - молчит...

В круглом отверстии старой, туго связанной железом двери шевелилось что-то тёмное, мягкое, живое, рождая тихие, грустно дрожащие слова. Миша, широко открыв глаза, стоял, наклонив голову к окошку, слушал, и ему казалось, что это само дерево двери, насыщенное тяжёлыми вздохами людей, поглотившее множество тоски и одиноких дум, превратило человеческое страдание в печальную легенду и теперь таинственно рассказывает её. И этой легенде, чуть слышно вздыхая во тьме за окном, вторит бесконечная песня-стон.

В окошечке что-то передвинулось, потом тёплыми огоньками заблестели, улыбаясь, глаза Офицера.

- Понравилось вам? - прошептал он.

В горле Миши было сухо, в груди его не хватило воздуха. Он пристально смотрел в красивые глаза, и вдруг ему показалось, что тюремный надзиратель должен был сам сочинить эти стихи, непременно сам! Не сразу и тихо он ответил:

- Понравилось... Почему вы думаете, что это запрещённые стихи?

- Как же - ведь о правде!

- Вы сами... не сочиняете стихов?

- Я? - удивлённо спросил Офицера. - Нет... куда же? Только когда ещё в солдатах был, так составил себе одну молитву...

- Какую? Скажите!

Несколько секунд тишины - и снова по камере пронёсся шелест простых, задушевно сказанных слов:

- Господи, боже мой! Почему так много в людях жестокости и злобы? Господи - почему?



Этот вопрос мягко, но сильно толкнул Мишу в грудь, охватил и смял его. Он бесшумно шагнул назад, присел на край нар и, крепко упираясь спиной в угол печи, неподвижно уставился на дверь и – ждал чего-то...

А Офицеров спокойно говорил:

– Она была длинная... теперь уж я забыл её... Знаете – очень я люблю стихи... они совсем не похожи на то, что люди говорят...

Миша видел, что глаза надзирателя внимательно смотрят на него; он слышал шорох за дверью и однообразно унылые звуки песни за окном... От печки спина его нагривалась, но в груди было тесно и холодно.

– Вам нездоровится? – спросил надзиратель. – Такая погода тяжёлая...

– Нет, ничего... – глухо ответил Миша.

Ему казалось, что в камере душно, воздух в ней какой-то странно густой, насыщенный тяжёлым, тёплым шепотом и трудно дышать этим воздухом.

– Вы – лягте, – посоветовал Офицеров. – Спать пора.

И неожиданно он добавил:

– Ещё одного рядом с вами посадили...

Миша промолчал. Глаза Офицера сверкнули и исчезли.

Теперь на месте их осталось только маленькое, круглое отверстие посередине двери, и сквозь него был виден мёртвый, серый кружок стены, освещённый ровным, неподвижным светом. Болезненно наморщив лоб, Миша смотрел на него и читал про себя:

И нигде себе приюта

Человек не находил...

За окном едва слышно вилась и дрожала песня, точно плутая во тьме... Как будто тот, кто начал петь её, уже не мог остановиться, безвольно отдался во власть ей и надрывал себе грудь в этой однотонной жалобе...

Потом слуха Миши коснулся непонятный дробный стук... точно где-то упало несколько капель дождя...

ИХ

Малинин вскочил на подоконник, прислонился головой к железу решётки и, тихо постукивая пальцами по стене, задумался, полный тяжёлой тревоги.

Извне к стёклам окна плотно прильнула густая тьма ночи, молча рассматривая бледное, осунувшееся лицо юноши. Редкие, сухие снежинки, на миг вырываясь из мрака, грустно шуршали о стёкла и исчезали, проглоченные тьмой...

В памяти Миши ясно прозвучала робкая жалоба:

"Господи, боже мой! Почему так много в людях жестокости и злобы? Господи – почему?"

Весело усмехаясь, пред ним встали "два громилы" из Вязьмы; он вспомнил твёрдо уверенного в своём праве убивать Якова Усова...

И откуда-то, как огни во мраке ночи, одиноко, мужественно являются суровые, крепкие люди. Они ходят вдоль тюремной стены и, "несогласные со всем", сосредоточенно думают большую, всю жизнь обнимающую думу.

Миша тяжело спрыгнул с подоконника и забегал по камере.

За дверью, в неподвижной тишине коридора, медленно плывал странный звук, напоминавший кипение воды. Миша остановился, прислушался... В камере напротив его кто-то бредил, кто-то торопливо бормотал неясные слова, захлёбываясь ими, и в этих словах тоже слышалась жалоба... В конце коридора тихо разговаривали надзиратели.

- Только и всего! - услышал Миша задумчивое восклицание Офицера.

Снова в камере раздался какой-то странный стук - несколько быстрых ударов, разделённых неправильными паузами. Миша сумрачно оглянулся, - по полу бесшумно пробежал мышонок - точно прокатился маленький клубок шерсти и исчез под нарами. И ещё раз настойчиво прозвучал этот нервный стук. Миша догадался, вздрогнув, зачем-то крепко прижал к стене ладонь своей руки и стал гладить её по шероховатой штукатурке, как бы желая поймать этот стук.

Ему показалось, что звуки рождаются вот в этой точке стены, - тогда он встал на колени, зачем-то нахмурился, поднял руку... с досадой опустил её, снова поднял и бестолково забарабанил ногтями в стену... Потом прислушался - было тихо.

Он вскочил, бросился к двери и, приложив губы к окошку, тревожно, умоляюще, но негромко воскликнул:

- Офицеров! Надзиратель!

И, когда Офицеров явился у двери, Миша торопливо, нервно зашептал:

- Послушайте... голубчик! Он стучит...

- Сосед?

- Скажите... шепните ему - я не умею!

- Боюсь я...

- Ничего! Мы - осторожно...

- Если узнают... так меня...

- Да нет же! Скажите, чтобы азбуку... Я не знаю...

Офицеров откачнулся от двери, и из коридора прилетел его покорный шёпот:

- Хорошо... я скажу.

И он ушёл... А потом снова явился, блеснули его грустные глаза, и раздался шёпот:

- Слушайте...

Не сказав ему ни слова, Миша подбежал к стене, остановился перед ней напряжённо и, улыбаясь, замер, весь охваченный трепетным желанием говорить, говорить!

Полуоткрыв рот, он стоял перед серой, тяжёлой стеной и, готовый раскланяться с ней, смотрел на неё жадно горящими глазами...

Из стены раздельно и внятно летели один за другим негромкие, но твёрдые удары, упрямые, сухие звуки камня, и пальцы правой руки Миши, невольно вздрагивая, послушно повторяли их...

...Спустя несколько дней Миша, закутанный в одеяло, стоял на подоконнике, плотно прижимаясь плечом к косяку, и, нахмутив брови, рассматривал причудливые рисунки мороза на стёклах окна.

За тюремной стеной на холодное зимнее небо поднималось невидимое солнце, серые, скучные тучи становились светлей и прозрачнее. Выпал снег; он лежал на земле тонким слоем, тёмная, мёрзлая грязь, разрывая его белизну, сумрачно смотрела в небо...

Вздрагивая от холода, Миша вспоминал сухие, твёрдые звуки, которые передала ему в эту ночь изрезанная трещинами старая стена его камеры, вспоминал и – претворял их в слова и мысли...

"Жизнь – жестка и беспощадна... Жизнь – борьба рабов за свободу и господ за власть, и она не может быть мягкой и спокойной, она не будет доброй и красивой, пока есть господа и рабы!.."

"Какой у него голос?" – подумал Миша о своём соседе. Он вспомнил худое, тонкое тело и решил, что голос, вероятно, высокий, резкий, неприятный, совершенно лишённый тех сочных, грудных нот, какие звучат в голосах людей добрых и мягких. И Миша недружелюбно покосился на стену, за которой теперь, должно быть, уже спал этот человек, похожий на ярко горящую свечу в грязном фонаре.

В памяти юноши всё вставали мерными, суровыми рядами мужественные, твёрдые, холодные, точно куски льда, слова, складываясь в крепкие, круглые мысли:

"Жизнь не будет справедливой и прекрасной, пока её владыки развращаются властью своей, а рабы – подчинением... Жизнь будет полна ужаса и жестокости до той поры, пока люди не поймут, что одинаково вредно и позорно быть и рабом и господином..."

Холод утра крепко обнимал тело Миши жёстким объятием. Часто мигая красными от бессонной ночи глазами, Миша рассматривал рисунки мороза и порою оглядывался на стену с недобрым чувством, которое он не желал бы замечать в себе, но невольно замечал. За эти несколько ночей стена наполнила душу его неисчерпаемой массой быстрых, нервных, твёрдых стуков, и теперь, превращая их в мысли, он чувствовал, что сердце его покрывается таким же холодным рисунком, как рисунок мороза на стекле окна.

Но вместе с этим где-то глубоко внутри его тихо разгоралась тёплая, согревающая мысль:

"Произвольно и несправедливо всё это... Разве можно делить людей только на два лагеря?... А например – я? Ведь, в сущности, я – не господин и не раб!"

Мелькнув в его душе, как искра, эта маленькая, хитрая мысль тотчас же уступила место большему, суровым, твёрдым мыслям. Они ставили перед юношей железное требование работы долгой, трудной, незаметной – великой работы, полной непоколебимого мужества, спокойного примирения с простой, скромной ролью чернорабочего, который очищает жизнь огнём своего ума и сердца от гнилого, ветхого, уродливого хлама предрассудков и предубеждений, авторитетов и привычек...

"Могу ли я делать это?" – внутренне вздрогнув, спросил себя Миша.

И тотчас же со стыдом понял, что он, из страха пред чем-то, нарочно спросил себя не так, как было нужно.

Тогда он поставил вопрос правдивее:

"Хочу ли я этого?"

...Наступал холодный, хмурый зимний день. Тюрьма просыпалась: в коридоре гулко гремело железо замков, скрипели и ныли ржавые петли дверей, строго звучали резкие окрики начальства, были слышны то глухие и робкие, то смелые и раздражённые голоса арестантов.

В памяти Миши воскресали гордые слова соседа, переданные им сквозь старые камни тюремной стены:

"Кто освободил свой ум из темницы предрассудков, для того тюрьма не существует, ибо вот мы заставляем говорить камни, и – камни говорят за нас!.."

...За окном, вдоль тюремной ограды, крепко топя ногами в мёрзлую землю, задумчиво ходил часовой, а на стене сидела ворона и, склонив голову набок, любопытно следила за ним круглым, чёрным глазом...

1904 г.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!